

# ПЕРЕЖИТОЕ<sup>1</sup>

На старости я сызнова живу:  
Минувшее проходит предо мною...

*Пушкин. «Борис Годунов»*

В половине ноября 1865 года, получив деньги на дорогу до Владимира, письмо к предводителю дворянства М.И. Огареву<sup>2</sup>, содержавшему тогда городской театр, распрощавшись с семьей К.Н. Полтавцева<sup>3</sup>, где я проживал в качестве сироты без роду и племени, я сел на извозчика, приторгованного мной на Нижегородский вокзал. День был морозный, с сильным ветром.

Весь мой багаж заключался в узелке, где был завязан мой гардероб, состоявший из чёрной визитки, клетчатых брюк и жилета, лаковых ботинок и трех крахмальных рубашек. Приобретено это было на сбор с любительского спектакля, устроенного Медведниковым в Секретаревском театре на Кисловке<sup>4</sup>, в котором я и принимал участие как актёр в нескольких пьесах. Это был, так сказать, мой бенефис, крошечный сбор которого весь ушёл на покупку вышеупомянутых вещей.

На голове у меня была старая драповая шотландская шапочка; на плечах – надетая в рукава, едва доходившая до колен серая шинелька с невообразимо коротенькой пелериной и донельзя вытертым собачьим воротником. Она была сшита, когда мне шел тринадцатый год, и служила мне также и одеялом; подкладка её вытерлась, а тонкий слой ваты ушёл на папиросы. На ногах, за неимением носков, обернутых в газетную бумагу, были надеты старые стоптанные большие сапоги.

Сам я был страшно худ и на голове носил шевелюру из длинных выющихся волос серебристо-пепельного цвета. Эти волосы, по уверению семьи Полтавцевых, составляли единственное украшение всей моей персоны, и я так уверовал в это, что ни за какие блага не хотел их стричь. Как Самсон, лишившись волос, утратил свою силу, так и я полагал, что как только коротко остригусь, так от меня останется пустое место. Эта уверенность жила во мне очень долго.

От Староконюшенной, где я жил, до Нижегородского вокзала добрый час езды, и за этот час, не имея привычки ездить на извозчиках, я так заоченел, что не чувствовал ни рук, ни ног. Приехав на вокзал незадол-

1 Из книги: Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки / Сост. В.В. Подгородинский; предисл. Ю.М. Соломина; – М.: Языки славянской культуры, 2002. (Библиотека Малого театра). Воспоминания А.П. Ленского «Пережитое» были напечатаны после его смерти («Русская мысль» за 1909 г., март, апрель, май) и имели подзаголовок «Из воспоминаний А.П. Ленского». Написаны – в начале 90-х годов (во всяком случае до 1895 г.). Черновые рукописи, писанные рукой Ленского, хранятся в Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина (рукописный отдел). «Пережитое» печатается с сокращениями. (Ред.).

2 Огарёв Михаил Ильич – муж актрисы Александрийского театра Читау, которая, выйдя за него замуж, должна была покинуть сцену, так как он был в то время гвардейским офицером: полковые традиции не допускали браков между офицерами и актрисами. Любя театр и стремясь облегчить жене тоску по сцене, он «держал» театр во Владимире, где она, причем, как жена предводителя дворянства также не могла выступать: профессиональная сцена была закрыта для «дамы из общества».

3 Полтавцев Корнелий Николаевич (1823—1865) — трагик императорских московских театров. После пятилетнего «отпуска» в провинцию, где он пользовался успехом, он с 1850 г. играл в Малом театре, в одних ролях имея большой успех (Эдгар, Лир), другие играя малоудачно (Кориолан). Был женат на актрисе Елизавете Павловне Макаровой, сводной сестре Ленского («внебрачной» дочери его отца – Павла Ивановича Гагарина).

4 Секретаревский театр на Кисловке – чуть ли не единственное в Москве театральное помещение, сдававшееся во второй половине XIX века под любительские спектакли.

го до первого звонка, я купил билет третьего класса и, как новичок в путешествии, боясь опоздать, тотчас же залез в холодный, промёрзший вагон, который тогда не отапливался и не имел двойных рам. Посредине во всю длину вагона тянулись две скамьи, спинками вместе, по наружным стенам тоже по скамье. Когда я вошёл в вагон, места на средних скамьях были уже заняты; я сел у стены между двух окон и всё подвигался по просьбе входивших пассажиров, так что постепенно придвинулся к последнему окну и двери. К наружным стенам нельзя было прислониться, – до такой степени они находились, окна были сплошь покрыты пушистым инеем, а в двери так и садило морозом. На ходу стало ещё холоднее, и я, не отогревшись на вокзале, стал совсем застывать. Вагон скрипел и трещал на ходу, дикий цвет, в который были окрашены стены и потолки, усиливал надвигающиеся сумерки; когда совсем стемнело, кондуктор зажег фонарь, осветивший вагон колеблющимся светом, сделавшим его ещё мрачнее. Пар от дыхания сорока человек облаком ходил по вагону. От нестерпимой стужи зубы мои стали стучать, Большой запас здоровья надо было иметь, чтобы такой случай прошёл бесследно!..

Я вспомнил, что если выпить водки, то согреешься; потому на первой большой станции я выпил рюмку водки, затем спросил и стакан чаю, но чай был так горяч, что не успел я отхлебнуть и двух раз, как раздался звонок, и я стремглав бросился в вагон, и совершенно напрасно, так как поезд простоял ещё долго, и я свободно успел бы допить свой чай.

От выпитой рюмки водки я почувствовал приятную теплоту и получил способность размышлять. Что меня ждёт?.. Примут ли меня на сцену? Какова будет жизнь в доме сестры<sup>1</sup>, с которой я ни разу в жизни не встречался?.. Какова она сама?.. Добрая или злая, простая или гордая? Как мне держать себя с ней: давать ли понять, что мы родные?.. Буду ли я ей братом, или, как в Москве, буду жить из милости: полуприёмным, полулакеем?.. Вот вопросы, которые занимали меня и на которые ответа не находил...

А что, если на дебюте я окажусь никуда не годным, и меня в труппу не возьмут?.. Куда я тогда денусь?.. Это был самый мучительный вопрос.

Наконец, удачную ли я выбрал пьесу для дебюта: «Игра счастья»?..<sup>2</sup> Роль я знаю превосходно; я сам переписал пьесу и везу на случай, если её нет в театре.

В таких размышлениях время шло до самого Владимира.

Отогревшись немного на вокзале, я вышел со своим узелком нанять извозчика и тут только спохватился, что, уезжая, забыл спросить адрес сестры. Начинаю расспрашивать извозчиков: не знают ли они, где живёт полковник Т\*\*\*?..<sup>3</sup> Не знают. Я в буфет – не знают; к начальнику станции – то же самое. Что делать?.. Ну, думаю, поеду в театр, спрошу там. Почему надеялся узнать адрес офицера в театре, а не в казармах – не знаю!

Нанимаю извозчика за шестьдесят копеек и еду. Поднявшись на гору и проехав ещё немного, мой извозчик остановился.

– Что ты? – спрашиваю.

– В театр нанимали... – отвечает он.

– Да где же театр?...

– А вот он...

Так это-то владимирский театр!.. Мы стояли перед каким-то одноэтажным деревянным сараем, который может походить на что угодно: на хлебный амбар, конюшню, но менее всего на театр.

1 В доме сестры – Зинаиды Павловны, урожденной Гагариной, «законной» дочери отца Ленского.

2 «Игра счастья» – одноактная комедия С. Соловьева, шедшая в 1850 г. на сцене Малого театра; центральным исполнителем в ней был Рассказов (см. примечание 35).

3 Полковник Т... (Шатов) – муж сестры Ленского Зинаиды. Ленский не любил делиться воспоминаниями, касавшимися его происхождения, и никогда не называл фамилии своей сестры, которой в «Пережитом» посвящены строки, полные сердечной любви и благодарности.

Вылезая из саней, отворяю дверь, вхожу в сени. И, боже, что это были за сени!..

Как только вошел, меня оглушил треск целой дюжины барабанов; из-за этого треска едва различаю звуки оркестра, играющего знакомую мелодию польки из оперетки «Десять невест и ни одного жениха». В Москве эту польку под аккомпанемент оркестра исполняют на деревянно-соломенных инструментах Василий Игнатьевич Живокини<sup>8</sup> и десять артисток, изображающих его дочерей, что выходило очень мелодично.

Что же это тут происходит?.. Где я?.. Уж не привёз ли меня извозчик вместо театра в казармы?..

– Кого надо? – прерывает мои размышления появившийся откуда-то сторож и подозрительно косится на мой узел.

– Не знаете ли, где живет полковник Т\*\*\*?.. – спрашиваю я.

– Нет, не знаю, – протянул сторож. – Да вы кто такие будете?.. добавил он, всё ещё косясь на мой узел. – Я актёр, приехал сюда дебютировать, не без гордости произнес я. – И вот потерял как-то адрес полковника Т\*\*\*, – соврал я.

– Не знаю такого, – решительно произнес сторож...

...Я вышел на подъезд. Ночь. Незнакомый город... Сажусь в извозчицьи сани: поеду, думаю, куда глаза глядят, буду по дороге спрашивать, может, и найду. Метель, слава богу, утихла. Еду по широкой, безлюдной, неосвещенной улице. Глубокий, только что выпавший снег глухо скрипит под полозьями; сани, часто врезываясь в сугробы, с трудом переползают через них. На улице ни души, во всех домах темнота, тишину прерывают только перекликающиеся дворовые собаки. Спросить решительно не у кого; ехать в гостиницу – денег только заплатить извозчику.

Вот у одного дома, где виднелся свет, звонко в морозном воздухе щелкнула щколда; калитка, занесенная снегом, с трудом в несколько приемов отворилась и пропустила кого-то. Мой извозчик остановился. Увязая в глубоком снегу, фигура выбиралась на середину улицы. Я окликнул – фигура подошла. Вижу – солдат, под мышкой не то портфель, не то разносная книжка. Надежда у меня воскресла: как, думаю, солдатику не знать квартиры полковника? Спрашиваю.

Оказывается, что я стою как раз перед домом, где он живет и откуда вышел солдатик.

Ну, слава богу, значит, ночью не на улице!.. Слезая с извозчика и, увязая с узлом по колени в снегу, с трудом пролезаю через калитку, взбираюсь на крыльцо и, прежде чем позвонить, обиваю снег с сапог, чтобы не наследить в комнатах.

Удар застывшей ноги о ступеньку вызывает нестерпимую боль. Кое-как очистив наконец от снега сапоги, звоню.

Как-то примут?.. Дверь отворил денщик и, опросив фамилию, пошел докладывать.

Не могу передать, как трогательно встретила меня сестра Зина... Не знала, куда посадить, чем накормить!.. Пеняла, что я не дал знать о моем приезде, – она выслала бы за мной экипаж, и мне не пришлось бы блуждать ночью в незнакомом городе... Говорила, что не ждала меня так скоро, а потому эту ночь я буду спать в кабинете её мужа, а завтра она устроит мне отдельную комнатку – в мезонине, где мне будет хорошо и покойно...

Сестра повела меня в детскую, где в чистенькой кроватке под кисейным пологом спал, разметав полненькие ручки, словно перетянутые в кистях ниточками, прелестный ребенок – её первенец Сержинька. Загородив ладонью свечу от личика малютки, мать с хвастливой улыбкой посматривала то на ребенка, то на меня и ждала комплимента...

Боже мой, боже мой!.. Как все это ново для меня!.. Непривычная атмосфера заботы и ласки охватила меня.

Вскоре я лежал на мягком диване, на свежей простыне ослепительно белой белизны, под головами – две подушки, тёплое одеяло подшито простыней. У дивана столик, на нем свеча, спички, папиросы, пепельница, графин с водой и стакан – одним словом, все те удобства, какие мне до тех пор приводилось видеть только у других. Денщик хотел было раздеть меня, что привело меня в страшный конфуз: я боялся разоблачить перед ним отсутствие белья.

Выслав его под каким-то предлогом, я быстро разделся, юркнул под одеяло, и, когда он вернулся, я лежал уже в постели. Он забрал мои доспехи, которых мне больше не суждено было видеть, – и ушел...

– *Vonne nuit*<sup>1</sup>, Сашок!.. – раздался за дверью ласковый голосок Зины.

Царство тебе небесное, дорогое существо, моя дорогая сестра!.. Как горько вспоминать, что, непривычный к ласке, я стеснялся отвечать тебе на неё тем же. Много лет прошло с тех пор, а и теперь я часто вспоминаю добрый взгляд твоих немного косеньких глазок, твою улыбку углом рта, как у отца, твой чудный голос. Как ты дивно пела любимую мою арию «*Casta diva*» из «Нормы»!.. Царство тебе небесное, милая!..

Да, памятен мне этот вечер... Я погасил свечу, но нервы мои были сильно возбуждены, и я, не будучи в состоянии заснуть, курил папироску за папироской.

В моей памяти всплывали дни моего детства...

\* \* \*

...С 1865 года началась новая эра в моей жизни. Я стал актёром и самостоятельным человеком.

Теперь, лежа в чистом белье и отдаваясь грустным воспоминаниям тяжелого прошлого, я замечал, как постепенно радостное чувство, нахлынувшее волной, заливает эти грустные воспоминания. Только бы удача на сцене!.. Затем пошли воздушные замки: колоссальный успех, унижение проклятого студента и мое торжество над ним и всеми, кто не верил в меня... В подобных мечтах я провёл часть ночи, пока сон окончательно не сморил меня.

Через три дня я поехал к Огарёву. На мне была хорошая шуба, медовая шапка, тёплые калоши; ехал я на хорошей лошади, в санях с медвежьей полостью, с наваченным кучером. Одним словом, персона!..

Выезжая из ворот, я увидел в окне крестившую меня Зину. Ехать было недалеко, и я вскоре подкатил к подъезду предводительского дома. Тот же внушительного вида швейцар выбежал, отстегнул полость, почтительно помог мне выйти, широко отворил мне двери и снял шубу.

Доложили. Просят. Сердце мое сильно билось, когда я поднимался по лестнице. Вошел в кабинет.

Спиной ко мне стоял мужчина огромного роста и атлетического сложения. Не спеша повернулся он ко мне. Если бы поменьше усы и подлиннее волосы, – по осанке, по взгляду передо мной стоял бы Петр Великий, каким его изображают на портретах. Отрекомендовался. Он приветливо протянул мне руку, указал на кресло и сел сам.

Подаю рекомендательное письмо от Полтавцева. Не спеша распечатал, пробежал и, как бы стараясь припомнить, спросил: «Какой это Полтавцев?..» Я пояснил (меня, помню, удивило, что он не знает Полтавцева). Затем Огарев дернул сонетку; вошел казачок.

– Попроси ко мне Алексея Александровича.

Казачок исчез.

– Вы желаете быть актером?.. На какие же роли?.. На молодых людей?..

– На простаков, – отвечаю я торопливо, боясь, что он заподозрит меня в претензии играть любовников.

1 Покойной ночи.

– Так. Хотя у меня труппа полна и ни в каких персонажах я не нуждаюсь... – у меня сердце перестало биться, – ...но я не прочь, чтобы вы испробовали свои силы, – продолжал он, растягивая слова и осматривая меня.

– Сколько вам лет?

– Восемнадцать, – проговорил я, чувствуя, что возвращаюсь к жизни.

– Играли где-нибудь?

– На любительских спектаклях.

– Хорошо-с, попробуем. Желаю успеха.

В комнату развязно вошел элегантный, стройный, красивый молодой человек. Высокий, чистый лоб, черные вьющиеся волосы, прямой нос; из-под правильно очерченных бровей бойко глядели серые насмешливые глаза; только непропорционально малый подбородок портил отчасти общее впечатление. Видно было, что этот человек в жизни своей никогда не знал, что значит растеряться или сконфузиться.

– Что прикажете, Михаил Ильич?.. – грассируя, спросил он с элегантной почтительностью, останавливаясь перед Огаревым и окидывая меня любопытным взглядом.

– Позвольте вас познакомить с нашим *jeurie premier* и режиссёром Алексеем Александровичем Ральфом<sup>1</sup>, – обратился ко мне Огарев. – Вот, Алексей Александрович, юноша желает у нас дебютировать, – продолжал он, обращаясь к Ральфу.

Красавец придвинул кресло, сел и, оглядев меня ещё раз, оставил на меня свои насмешливые глаза, тогда как губы его едва улыбались. Я начал конфузиться. Роба студента-медика витала передо мной, как живая. Затем последовало несколько вопросов с его стороны и ответов с моей. Между прочим, он спросил: где я играл? Я ответил, что на любительских спектаклях и под руководством Полтавцева, – неожиданно для самого себя соврал я.

– В какой роли желаете дебютировать?..

– В одноактной комедии «Игра счастья», – сказал я, подавая тетрадку, – тут есть роль слуги, которую я...

– Прекрасно, – сказал Огарев. – Алексей Александрович, так велите переписать и раздайте.

– Как прикажете распределить роли?..

– Дайте сюда.

Ральф подал пьесу. Огарев просмотрел список действующих лиц, потом пробежал две-три странички, чтобы несколько ознакомиться с их характерами, и сказал: «Барина сыграете вы... – Ральф поморщился. – Женскую роль – или Настенька, или Фанечка... отдайте Настеньке». Ральф взял тетрадку, откланялся и вышел.

– Прорепетировал «Десять невест»? – крикнул ему вслед Огарев.

– Теперь, вероятно, кончили, – сказал Ральф, появляясь в дверях.

– Ну, так комедию без меня не начинайте, я сейчас приду. Ну, юноша, до свидания. Посмотрим вас, посмотрим. О репетиции известим.

Вышел я из его кабинета – ног под собой не чувствую. Я дебютирую!.. Я актёр!..

...Надо сказать, что я весьма наивно смотрел на провинциальный театр, так как, кроме московского Малого, никакого не видал. Я воображал, что в каждом театре труппа должна иметь сходство с труппой Малого театра, что роль Садовского<sup>2</sup> должен играть актёр, похожий

1 Ральф Алексей Александрович – провинциальный актёр, с которым Ленский встречался в нескольких труппах и после Владимира – в Нижнем, Саратове, Казани. Характеристика, данная Ленским, является наиболее яркой из всех существующих упоминаний об этом актёре.

2 Садовский Пров Михайлович (1818 – 1872) – актёр Малого театра (с 1859 по 1872 г.); знаменитый воплощение образов Гоголя (Осип в «Ревизоре», Подколесин в «Женитьбе») и особенно Островского (Русаков, Любим Торцов, Тит Титыч, Дикой, Краснов, Бессудный, Мамаев и т. д.).

на Садовского, роль Шумского<sup>1</sup> – похожий на Шумского, и т.д. Я сам, например, мечтал заменять собой Рассказова<sup>2</sup> и, предназначив себя на его роли, неистово копировал этого артиста, даже стараясь говорить несколько в нос, как делал он...

...Дня за три до моего дебюта назначена была первая репетиция. Накануне меня известили, в котором часу. Ночь я, конечно, и не спал. Надежда и отчаяние постоянно сменялись во мне. Боязнь доходила до того, что минутами я готов был отказаться от дебюта.

В назначенный день я пришел в театр задолго до назначенного часа. Вышел из дому за полчаса, когда ходьбы до театра всего-то пять минут. В театре, конечно, ещё ни души. Наконец собрались.

Как началась репетиция, как кончилась – ничего не помню. После репетиции Огарев призвал меня в небольшую комнату подле его ложи, которая служила фойе для артистов.

Взволнованный, подошел я к нему, с трепетом ожидая приговора.

– Очень мило, юноша, – сказал Огарев, – но у вас, вероятно, насморк?.. Вы простудились?..

– Нет, – отвечаю я.

– Почему же вы говорите так в нос?.. Это неприятно слушать. У вас от природы такой милый голосок, а вы гнусите. Зачем это, милый юноша?..

Я стоял перед ним, опустив глаза в землю, не решаясь объяснить, что это я копирую очень хорошего актёра на эти роли; что я, напротив, думал пленить этим и произвести впечатление.

– Нет, вы это бросьте, милый юноша, – это мой вам добрый совет. И поверьте, будет много лучше!..

– Прикажете ставить на афишу?.. – програссировал Ральф.

– Да, ставьте, – сказал Огарёв.

Вечером была опять репетиция. Спектакли шли два-три раза в неделю, и пьесы сретовывались очень хорошо. Надо сказать, что я нигде потом не встречал такого хорошего отношения к искусству и к труппе, как у Огаревых, мужа и жены, а также у труппы – к искусству и к антрепренёрам, как тут, во Владимире. Огарёв был женат на Александре Матвеевне Читау<sup>3</sup>. Труппа сплошь состояла из молодежи, по большей части воспитанников петербургского театрального училища. Служба у Огаревых была превосходной школой для них. Большинство актёров и актрис звали Огарёва «папочкой», а Александру Матвеевну «мамочкой». У них вся труппа дневала и ночевала, пила и ела. Это была действительно огромная дружная артистическая семья. И когда я примирился с мыслью, что не могут же быть в каждой труппе непременно Шумские и Самарины<sup>4</sup>, когда пригляделся к своим новым товарищам по сцене, то

1 Шуйский Сергей Васильевич (1821 – 1878) – актёр Малого театра (с 1841 по 1878 г.); прекрасный исполнитель Хлестакова, Счастливецва, Чацкого, Плюшкина, Кречинского; актёр, поражавший разнообразием своего репертуара, серьезной работой над собой и над ролями. Милый ценил его чрезвычайно высоко.

2 Рассказов Александр Андреевич (1833 – 1902) – актёр Малого театра (с 1850 по 1866 г.); выступал в ролях бытовых простаков (Бальзаминов, Белогубов в «Доходном месте», Алексей в «Чужое добро впрок не идёт»). Затем занялся антрепризой в Поволжье, где он сам и его труппа пользовались большим успехом. У него служил Ленский в Самаре (1868) и по его совету перешел с ампула комиков на роли драматических героев.

3 Читау Александра Матвеевна, по мужу Огарёва – актриса Александринского театра (с 1849 по 1854 г. и с 1868 по 1882 г.). Первая исполнительница в этом театре Дуни в «Не в свои сани не садись» Островского и его же «Бедной невесты». После отставки мужа вновь стала выступать сначала в своей труппе в Кронштадте, а затем опять в Александринском театре.

4 Самарин Иван Васильевич (1817 – 1885) – актёр Малого театра (с 1837 по 1885 г.), сын крепостного. Воплотитель образов классического репертуара и мелодрамы, державшейся в репертуаре благодаря его игре. Аристократический внешний облик, обаяние, мастерство и внутренняя сила делали Самарина одним из весьма популярных актёров. Видный театральный педагог; его ученицы – Федотова и Никулина. Игра его отличалась в молодости обаянием и взволнованностью (Чацкий в «Горе от ума», Мортимер в «Марии Стюарт»), в зрелые годы поражала детальная отделка ролей; в старости он был знаменит в ролях Го-

увидал, что многие пьесы шли прекрасно и с большим ансамблем. Публика поэтому охотно посещала театр.

Наконец настал день дебюта. Как я провел этот день и вечер, что чувствовал, – не помню ничего. Памятна мне только тупая боль в затылке, когда занавес поднялся; потом все спуталось...

По окончании я был вызван два или три раза; кланялся я, вероятно, очень неловко.

Потом я долго ничего не играл, а только выходил на выход. Не помню, в каком водевиле должна была выходить целая толпа с лопатами, метлами, кольями и маршировать под музыку. Я был в числе этих воинов. Задумал я поразить всех своей гримировкой, а потому, загримировавшись и убедившись, что узнать меня довольно трудно, я до выхода старался избегать встречи с кем бы то ни было. Как на грех, натыкаюсь как раз на Михаила Ильича Огарёва. Он остановил меня и начал всматриваться.

– Кто это? – спрашивает он.

О, верх торжества и радости: меня не узнают!..

– Это я, Ленский, – ликующим тоном отвечаю я.

– Леночка, душенька, поди, сотрись, милый!.. Нехорошо; даже для лица вредно так пачкаться!.. Ведь ты не чёрта играешь... да и для него такая гримировка была бы уж слишком сильна. Пойди, пойди, умойся скорее, пока никто не видал!.. – и, двумя пальцами повернув меня за плечо, он слегка подтолкнул меня по направлению к уборной.

Спустя долгое время, по крайней мере мне так казалось, за отказом ли актёра Зимина или по его болезни мне дали роль Белами в водевиле «Рай Магомета»<sup>40</sup>. Роль была главная в пьесе. Я, разумеется, был очень обрадован, выучил её, но сделать из неё ничего не удалось; водевиль успеха не имел, в продолжение всего водевиля – ни единой улыбки!.. Не берусь передать, как я был глубоко огорчен. Вера в свои способности сразу рушилась!.. Я ходил как убитый. Если бы мне тогда предложили какую-нибудь роль, я не решился бы играть и просил бы меня от неё избавить. Будущее рисовалось мне в самых мрачных красках; предсказания семьи Полтавцевых и их студента как будто находили в этом эпизоде своё подтверждение...

Был у нас в труппе актёр Васильев, но по фамилии его никто не звал, а звали его все Вася Белый<sup>41</sup>. Он действительно был бел: волосы белые, брови белые, ресницы белые, глаза тоже белые. Лицо, всегда ярко-красного цвета, по временам принимало синеватый, чугунный оттенок. Он занимал должность помощника режиссёра и «наверх» появлялся только по делу, так как постоянно распространял смешанный букет из водки, только что выпитой, и водки, проглоченной накануне. Небольшого роста, коренастый, он обладал огромной физической силой. Доброта и честность этого человека равнялись его силе.

Вот как-то на одной из репетиций подходит ко мне этот Вася Белый, обвил меня рукой и, обдавая сивушным перегаром, ведёт в угол сцены.

– Что, хлопче, горюешь?.. О чем?.. Что водевиль-то провалил?.. Эк – стоит!.. Да и сам водевиль-то дрянный!.. Будь хорошая роль, ты думаешь, Зимка уступил бы тебе?.. Как же, держи карман!.. Он его прошлый год играл, тоже ничего не сделал, вот и сплавил тебе. Да хотя бы и хорошую роль провалил, так нешто этого не бывает?.. О чем горевать-то, глупый ты, глупый паренек!.. А знаешь ли ты, – сказал он, понизив голос и ещё ближе нагнувшись ко мне, отчего запах перегара сделался ещё более невыносимым. – Знаешь ли, что сказала про тебя мамочка?.. А она, брат, у-у... она не ошибется!.. Она... вот ты провалился, надо уж правду ска-

---

родничего и Фамусова. Мягкость исполнения, тонкость в обрисовке образов, а также ряд общих с Ленским ролей (Бенедикт, Петруччио, Фальстаф, Лыняев, Фамусов) постоянно заставляли сравнивать последнего с Самариным. Но помимо того, что Ленский был все-сторонне образованным художником, стремившимся реформировать современный ему театр, он и как актёр значительно отличался от Самарина: его творчество, являясь дальнейшим этапом развития русской школы реалистического актёрского мастерства, служило выражением передовых стремлений деятелей искусства его времени.

заль: провалился... а она после водевили-то и говорит... ей-богу, я сам слышал: из этого мальчика, говорит, будет хороший актер!.. Так и сказала. И я ей верю. Я хоть и пьяница, а ты мне поверь... и я тебе то же скажу, что и она.

После этого разговора я ожил. И радостно, и весело стало опять на душе!..

...Что такое был, собственно, провинциальный актёр в то время, когда я начинал свою сценическую карьеру?.. Я буду говорить, конечно, о массе.

Это было что-то очень жалкое, неразвитое, запутанное и забытое. Актёром в обществе пренебрегали и относились к нему свысока. Единственное, где он был завсегдаем, был трактир, а то и просто кабак. На своего товарища, не желающего посещать эти заведения, находящего утеху не в шкаликах и косушках, а в чтении или в своем театральном деле, большинство смотрело как на выскочку и при всяком удобном случае бросало ему в виде брани прозвище «аристократ»!

– Помилуйте, – глумились они, – как можно, чтобы «они» с нами водку пили!.. Это наше, плебейское питье, а «им», «аристократам», рюмочку портвейна с бисквитиком пожалуйста...

При этом слова «аристократ», «портвейн», «бисквитик» для вящей язвительности произносились высоким горловым тенорком. А этому «аристократу» подчас было есть нечего, так как квартирная хозяйка в кредит больше не верит.

«Большинство» цеголяло с одуловатыми лицами, с синяками под глазами, в истасканных, утративших первоначальный свой цвет пальто, надетых прямо поверх грязной ситцевой рубахи, в стоптанных сапогах и с бахромою у панталон. Трудно было вообразить себе, что это жалкое создание вечером будет изображать какого-нибудь герцога или маркиза!.. Мудрено ли после этого, что на каждого, не желающего походить на них, а тратящего свои гроши на то, чтобы быть прилично и чисто одетым, это «большинство» смотрело враждебно, даже с ненавистью...

...Ральф как актёр на меня не производил впечатления. Имея красивую внешность, он был недурен в ролях светских молодых людей, но собственно актёрских способностей – «глубокого замысла», «претворения в изображаемое лицо» – у него не было. В трагических ролях он неистово кричал и очень мало чувствовал. Роли Ляпуновых<sup>1</sup>, Басенковых<sup>2</sup> он очень любил, но был в них, по моему мнению, очень слаб, уж по одному тому, что грассирование его не подходило к ролям русских бояр. Любимыми его ролями были Арбенин<sup>3</sup> и Ришелье<sup>4</sup>. В первой он подкупал прекрасным чтением лермонтовского стиха, во второй был рабской, притом чисто внешней, копией В.В. Самойлова<sup>5</sup>, а так как внутреннего содержания в самой роли не было, то копия, как копия, удалась и имела вполне заслуженный успех.

Красивый, смелый, уверенный, чтоб не сказать больше, Ральф прекрасно владел французским языком, что в то время в среде актёров была

1 Ляпунов – главный персонаж из драмы в 5 д. С. Геденова «Смерть Ляпунова», шедшей в столичных театрах с 1852 г. и долго потом державшейся в репертуаре трагических актёров.

2 Басенок – главный персонаж пятиактной трагедии Н. Кукольника «Боярин Федор Васильевич Басенок»; шла в Малом театре в 1847 г.

3 Арбенин – главный персонаж пьесы Лермонтова «Маскарад».

4 Ришелье – главный персонаж из одноименной драмы Геденова, одна из чрезвычайно удачных ролей В. В. Самойлова, в которой он зарисован Ленским.

5 Самойлов Василий Васильевич (1813 – 1877) – актёр Александринского театра (с 1834 по 1874 г.); мастер внешнего перевоплощения, одинаково блестяще игравший и водевили, и комедии, и трагедии. Ленский не раз подчеркивал то влияние, какое Самойлов оказал на него в искусстве грима.



большая редкость; про него ходили легенды о его неимоверных успехах у женщин Петербурга; о громадном! состоянии, будто бы прожитом им в короткое время; всё это делало его «интересным», а французский язык и большая уверенность давали ему патент на «образованного человека».

Удивительно ли, что человек, умеющий прилично держаться, бойко говорить по-французски, при таком антураже мог прослыть за образованного, чуть ли не гениального артиста?..

...С грустью я видел, что приближаете время поста. Огарёв не желал больше держать театра и распускал труппу. Нижегородский антрепренер Смольков<sup>1</sup>, проезжая в Москву, смотрел у нас два спектакля и пригласил к себе Ральфа, Самойлова, Душкина и меня в Нижний. Окончательные переговоры он отложил до конца первой недели великого поста...

...Актёр Душкин, молодой человек, только что выпущенный из петербургской театральной школы; играл он мало и всё небольшие роли. Во Владимире я его помню только в «Паутине», в которой он изображал какого-то пьяного господина, впрочем, весьма недурно.

Это был рослый парень, очень сильный и очень глупый. Кулаки его были так непропорционально велики и казались так тяжелы, что висели, словно оттягивали плечи. В лице его было что-то лошадиное, хотя в общем он все же был недурен собой. Думал о красоте своей он очень много, занимался собой неимоверно, относясь необыкновенно внимательно ко всем принадлежностям своего туалета. Все, начиная с лаковых ботинок до цилиндра включительно, имело у него вид вещей, никогда не бывших в употреблении. Как ухитрялся он «носить и не изнашивать», – это была его тайна. Если он играл в водевиле, то являлся в театр наравне с тем, кто играл в первой пьесе. Пройдя в уборную, он прежде всего раздевался, затем вынимал из чемодана пудреницу, щётку, гребёнку, мыло и прочее; немедленно напудривал всё лицо и ходил так до гримировки. Затем осторожно вынимал из чемодана платё, платяную щетку и начинал его чистить, несмотря на то, что оно было только что вычищено перед укладкой. Чистка платя продолжалась довольно, ещё дольше наводилась гримировка; но дольше всего пробирался пробор и подвязывался галстук. Когда он вообще что-либо делал, то всегда громко сопел; но когда занимался пробором или подвязывал галстук, это сопение становилось ещё громче, сопровождалось даже носовым свистом. Тут уж для него никого не существовало, он весь уходил в это сложное занятие. Бесплезно было просить его уступить место у зеркала для грима, – ответом было лишь усиленное сопение и больше ничего. Одет он был всегда очень хорошо, так как отец его, имея хорошие средства, давал ему эту возможность.

Влюблен он был постоянно, но сердечные увлечения не убивали его мечтаний практического свойства. Заветной мечтой этого сорта была встреча с купеческой вдовой, обладающей капиталом, которая влюбится в него и сделает его счастливым на всю жизнь. Для того чтобы понравиться неизвестной вдове, у него были даже омерзительные приемы в туалете. Но это все, привитое дурным воспитанием и средой, не исключало у него хороших качеств: доброты и способности быть хорошим товарищем.

<sup>1</sup> Смольков Федор Константинович – один из типичных содержателей театра в провинции, составивший себе известность легендарной скупостью, сказывавшейся и в постановочных расходах, которые он доводил до минимума, и в умении дешево нанять одаренного актёра и удержать его, несмотря на систематическое нарушение договорных условий. Невероятная эксплуатация актёров не спасала Смолькова от крахов. Прогорев в Нижнем Новгороде, он продолжал официально числиться содержателем театра, являясь подставным лицом, тогда как фактическим антрепренёром был губернатор князь Урусов. Сумев и на этом нажить оборотные средства, Смольков продолжал вновь антрепризу за свой счет.

...Я мечтал, что Огарёв заплатит мне за мою службу, но так как я ни при поступлении, ни по окончании ни слова не упомянул о жаловании, то и не получил ничего, кроме ласкового пожелания дальнейших успехов. Хотя трудовые гроши были бы мне и очень желательны, но что делать, и за то большое спасибо Михаилу Ильичу Огарёву, что дал мне возможность попробовать свои силы и окончательно пойти по этой дороге.

На третьей неделе поста Смольков дал знать, когда он проедет обратно, и мы должны были встретить его на вокзале и там в течение двадцати минут остановки поезда покончить с ним относительно ангажемента и его условий.

Он просил нас также приготовить списки игранных нами ролей. Исполнить это мне было недолго. На листке бумаги я написал: 1) «Час в тюрьме», роль Фонфана-Вальтера-Миньонета. 2) «Игра счастья», роль Жозефа. 3) «Дело в шляпе», роль слуги. 4) «Паутина», роль князя Балкасова. Затем наивно поместил роли Камаева и Белами под отдельной рубрикой: «неудавшихся ролей».

Съехались мы, т. е. Ральф, Душкин и я, на вокзал.

– Ты приготовил репертуар? – спрашивает Душкина Ральф.

– Да.

– Покажи.

Он вынул лист, весь кругом исписанный. Я заглянул в него. Боже!.. Чего там только не было!.. Все лучшие роли *jeune premier* в драмах, комедиях и водевилях. Ральф, в свою очередь, показал свой, ещё больше и значительнее.

– Да ведь вы же, господа, почти ничего из всего этого не играли! – наивно говорю я.

Ральф только покосился на меня одним глазом, сказав:

– Дурак!..

В это время подкатил поезд, вокзал оживился, прислуга засуетилась.

– Вот он, – сказал Ральф, и мы двинулись навстречу Смолькову.

Это был человек среднего роста, очень худой, с аккуратно прилизанными височками и с жиденькими рыжеватыми с проседью бачками. Сухие, тонкие губы и крошечные бегающие глазки придавали его маленькому лицу что-то пронзительно-хищное. Внешность департаментского чиновника доброго старого времени.

Мы раскланялись. Смольков подал нам руку. Вдруг его лицо сморщилось, глаза заморгали, губы крепко сжались и стали подергиваться, уходя внутрь и испуская отрывистые носовые звуки, правая рука поднялась к правому глазу и начала нажимать на внешний угол его. Я понял, что он – заика.

– О-о-о-чень... р-р-ад!.. О-о-чень р-р-ад!.. – наконец выпалил он.

Повторяя, он выговаривал фразу уже значительно явственней.

Смольков сел к столу, положив подле себя серебряную табакерку, издававшую звуки метронома; тик-так, тик-так. Это облегчало ему говорить.

Ральф и Душкин подали ему свои репертуары. Оседлав кончик носа пенсне, Смольков проглядел их внимательно. Стали говорить об условиях и кончили: Ральф на семьдесят пять рублей в месяц и три полубенефиса и Душкин на сорока рублях и двух полубенефисах.

После этого Смольков обратился ко мне с вопросом: приготовил ли и я репертуар? Я смущенно ответил, что всего первый сезон на сцене и репертуара ещё не имею. Ральф в это время смотрел на меня насмешливым взглядом, Душкин же сопел и обдавал меня полным презрением за такую простоватость.

Смольков внимательно посмотрел на меня поверх пенсне и предложил пятнадцать рублей в месяц и – ничего больше. Я согласился. Раздался звонок, и Смольков простился с нами, наказав быть в Нижнем не позднее Страстной.

– Дурак!.. – промолвил по моему адресу Ральф, как только Смольков исчез в вагоне.

– Дурак, – пробасил в мою сторону и Душкин.

– А вы жулики! – огрызнулась я, и мы расстались. В конце четвертой недели я распростился с моей дорогой, незабвенной сестрой Зиной и простился – увы! – навеки: года через три она скончалась. Уехал я от неё, снабжённый комплектом белья, вообще всем необходимым и двадцатью пятью рублями на первое время.

Приехали мы в Нижний, т. е. Ральф, Душкин и я, наняли извозчиков и поехали в город.

Извозчик мой был тщедушный, сгорбленный старичок, санки его – лубочные, низенькие и развалистые, но лошадка бойко везла по ухабистой дороге.

Миновали ярмарочные постройки навесами, все занесенные сугробами снега; переехали Оку, поднялись на небольшой пригорок и выехали на людную торговую улицу; помню, как сейчас, направо на углу вывеску: «Трактир Барбашенко». Потом увидал церковь, две капли похожую на церковь Покрова в Москве. Вообще эта улица напомнила мне Варварку в Москве, с её специфическим запахом москательных товаров; мне это было приятно, так как всё, что напоминало мою дорогую Москву, было мне близко и мило.

Проехав эту улицу, мы стали подниматься по так называемому Зеленскому въезду. Налево наверху виднелись ворота и стена Кремля, внизу – магазин сукон Ламанова. Далее налево видны были только откосы, покрытые ослепительной снежной пеленой, а направо – овраг, по склонам которого спускались сады, в которых заборы отделяли одно владение от другого. Дорога была тяжелая, лошадь плелась шагом, и старик извозчик шёл пешком рядом с санями, время от времени потряхивая вожжами.

Мне хотелось увидеть поскорее театр, а потому этот въезд казался мне бесконечным. Кое-как доползли наконец до верха и въехали на большую площадь с одной или двумя церквями и кремлевской стеной. Тут же была гостиница славившегося тогда повара Никиты Егорова, державшего также буфеты на вокзалах в Нижнем и в Москве. Всякий любивший покушать, приезжая в Нижний, считал своей обязанностью хоть разок пообедать у него.

Извозчик указал мне направо, сказав: «Вот театр». На углу двух улиц стояло двухэтажное здание с итальянскими окнами. Подъезд из нескольких чугунных тоненьких столбов поддерживал большой балкон второго этажа. В левой стороне первого этажа помещался колониальный магазин с вывеской «Муравейник», что мне, помню, очень не понравилось; театр и колониальный магазин – что общего?

Впереди меня на одном извозчике ехали Ральф и Душкин, а ещё впереди – извозчик с их багажом; заворачивая на улицу направо, по видимому, главную в городе, называемую Покровскою, что было мне опять-таки приятно по воспоминаниям о Москве, передовой извозчик махнул, чтобы следовали за ним.

Но тут произошло нечто неожиданное. На углу стояло несколько извозчиков с хорошиими запряжками. Вдруг все они без всякой видимой причины повскакали в свои сани и, нахлестывая лошадей, бросились врассыпную, кто куда. Такой переполох бывает только на птичьем дворе, когда куры внезапно завидят ястреба. Мой извозчик пугливо обернулся, торопливо снял шапку и задергал вожжами изо всех сил, понукая свою лошаденку. Сзади раздалось зычное: «П-а-а-ди!»... – и мимо нас пронеслась, ныряя по ухабам, пара серых: пристяжная свилась кольцом, на козлах – бородатый кучер, а в санях военный, завернувшийся в шинель с бобрами и с широчайшими плечами, так что плечи его равнялись ширине саней.

Это был полицеймейстер Лапа, известный взяточник и «дантист», сворачивавший скулы и правому, и виноватому. Впоследствии, встречаясь с ним, я всегда выносил тяжёлое впечатление от этих бесцветных, холодных глаз с желтоватыми белками; от этих словно лязгающих при разговоре крупных жёлтых зубов из-под жёлтых же усов с подусниками

и сильно двигающегося четырехугольного подбородка. Что-то холодное и жестокое чудилось в этом человеке. Впоследствии, читая щедринское описание градоначальников города Глупова, таким я представлял себе Урюм-Бурчеева.

Свернув ещё раз налево, мы очутились на Дворянской, имеющейся буквально в каждом почти провинциальном городе, и остановились наконец у подъезда небольшого двухэтажного дома, где вывеска гласила: «Номера Козлова». Мы взяли втроем один из номеров внизу: Два окна нашей комнаты выходили на улицу, и вообще комната была меблирована не по-трактирному, а наоборот, очень уютно. Между двух окон стоял письменный стол, под хорошим зеркалом помещался комод; во всю стену – широкий, аршин в семь диван, несколько мягких кресел, умывальник и кровать, загороженная ширмами.

Ральф сторговал её за пятнадцать рублей в месяц, что составляло по пять рублей с «физиономии», как выразился Ральф, распорядившийся во всё, как наш ментор.

Такое распределение было, конечно, не вполне справедливым по отношению ко мне, получавшему всего пятнадцать рублей в месяц, тогда как он получал семьдесят пять, а Душкин – сорок; но я тогда этой несправедливости не заметил, а потому, не протестуя, согласился.

Внесли наш багаж. Ральф, конечно, занял кровать, предоставив мне с Душкиным для сна диван, причем один должен был лечь к одному концу головой, а второй – к другому концу.

Сделав этот распорядок, Ральф начал умываться; Душкин же прежде всего раскрыл свой чемодан, выложил платье, белье, вынул сверток с гвоздями, спросил у коридорного молоток и, вбив в стену гвозди, тщательно развесил на них всё своё платье, заняв всю свободную стену от печки до входной двери; затем аккуратнейшим образом завесил это платье чистой простыней, подвернув её с обоих боков под платье. Бельё своё он уложил в один из ящиков комода, отдав остальные в наше с Ральфом распоряжение. Вешать платье нам было уже негде; но мы с Ральфом не протестовали, во-первых, потому что и я, и он были беспечны и небережливы, а ещё больше потому, что мы знали наверное, что наш Миша не уступит нам ни вершка из завоеванной им территории. Он мог уступить свою порцию кушанья и остаться голодным, мог обойтись без подушки и заснуть на собственном кулаке, но чтобы стеснить свой фрак, повешенный на плечике, своими собственными панталонами, – никогда!.. В этих случаях он был непоколебим. Зная это, мы покорились своей участи и развесили свой гардероб на ширмах.

Умывшись, мы заказали себе три порции рубленых котлет и в ожидании их улеглись. Ральф – на кровати, я на определенном мне месте – на диване, Душкин же, раздевшись и оставшись в одном белье, сдал своё платье и сапоги для чистки коридорному; сам же, густо напудрив лицо, принялся гладить бархатной подушечкой свой и без того безукоризненно гладкий и блестящий цилиндр. Покончив с цилиндром, Миша принялся примерять перед зеркалом свои галстуки, которых у него было великое множество, самых различных цветов и фасонов.

Вскоре принесли и котлеты, но что это были за котлеты!.. Каждая была не менее шести вершков длины и трех ширины, при соответствующей толщине, при этом горы горошку и поджаренного картофеля и по огромному ломтю белого хлеба. Стоимость каждой порции – тридцать копеек. Мы с Ральфом быстро уничтожили свои порции, Миша же Душкин, съев половину, накрыл остальное тарелкой и, положив сверху два огромных ломтя хлеба, поставил всё это на окно. Это дало ему возможность на обед потребовать себе к оставшемуся от завтрака один только суп.

– Братцы, – спросил Ральф, – вы будете делать визиты?

– Какие визиты? – спросил я.

– А вообще, чтобы иметь знакомства.

Затем Ральф оделся во фрак, надушился, нафиксатурился и поехал с визитами, предварительно выспросив у коридорного: кто предводитель, губернатор и другие именитые люди в городе.

Мы же с Душкиным, оставшись дома, улеглись на диван и предались мечтам: я – о ролях, Душкин – о купчихе.

На другой день Ральф начал облекаться опять во фрак. На вопрос: куда? он отвечал, что идет к домохозяину. Предварительно он послал лакея спросить: могут ли принять? причем вручил ему визитную карточку с дворянской короной. Прислали сказать, что просят.

Возвратился Ральф очень довольный и сказал, что вечером едет в клуб, куда его пригласил Козлов, который был там, если не ошибаюсь, старшиной. На другой день Козлов отдал Ральфу визит, таким образом и мы с Душкиным познакомились с ним.

В клубе Ральф познакомился со многими видными лицами города, очаровал всех своей непринужденной болтовней и безукоризненным французским выговором.

Женщинам он, разумеется, очень нравился. О нём говорили как о светском человеке, пренебрегшем своим положением в свете из пламенной любви к искусству. Узналась тайна его рождения, что настоящая его фамилия Атиль – не что иное, как анаграмма фамилии его вельможного отца Литта, знаменитого графа, кажется, командора мальтийского ордена. Впоследствии я видел в артистическом кружке превосходный поколенный портрет этого красавца, павловского вельможи, в регалиях, с большим мальтийским крестом. Разоблачение этой тайны создало интересную и романтическую атмосферу вокруг личности Ральфа в глазах нижегородского общества.

В мечтах Душкина рисовалась не светская гостиная, а семипудовая вдова с капиталом. По этому поводу звался опять-таки коридорный и опрашивались со всеми подробностями: фамилии, улицы, дома и прочее.

Вечером Ральф, собираясь в клуб, вдруг обратился ко мне:

– Ленский, дай мне твои двадцать пять рублей, у меня — ни гроша!..

– А я с чем останусь?

– Приеду из клуба – отдам.

– У кого же ты возьмешь?

– Ау какого-нибудь дурака... В природе, братец, во всем равновесие: на каждого умника родится непременно сотня дураков, а может, и больше. И чем умнее умник, тем больше на его долю дураков!.. Ну, не ломайся, давай, давай!..

– Да отдашь ли?.. Ведь это у меня последние...

– Ну вот еще!.. Присягу что ли принимать!..

Делать нечего, вынимаю деньги и отдаю.

– Ну видишь; вправду я говорил, – сказал Ральф, насмешливо улыбаясь и пряча деньги в свой бумажник.

– Что такое?..

– Да что на каждого умника родится по сотне дураков, – и сделав мне «ручкой», повернулся и ушел. Я не знал: смеяться ли мне или сердиться?..

Поздно ночью вернулся Ральф очень навеселе, возвратил мне двадцать пять рублей, свернув ассигнацию в трубочку и пощекотав ею у меня в носу, отчего я внезапно проснулся. Он с торжественной миной показал мне бумажник, в котором было около шестидесяти рублей. Ухитрился-таки у кого-то занять!..

Так прожили мы недели две. Временами наша комната превращалась в еврейскую синагогу, когда мы втроем одновременно принимались начитывать свои роли. Ральф, в одном белье, перед зеркалом, жестикулируя, читал монологи из лермонтовского «Маскарада» или ревел, обещая «негодяю на бритвах стлать постели», из дикой драмы «Козьма Рошин, рязанский разбойник»<sup>1</sup>. Душкин с напудренным лицом лежал и,

1 «Козьма Рошин, рязанский разбойник» – пьеса Бахтурина; шла на Александринской сцене в начале 40-х годов.

нестерпимо фальшивая, пел куплеты из водевиля «Кетли, или Возвращение в Швейцарию»<sup>1</sup>.

\* \* \*

Как-то в сумерках мы все лежали на своих постелях. Вдруг раздается голос Ральфа:

– У кого из вас есть деньги?..

– Не дам! — решительно отрезал Душкин, провидя дальнейшее.

– А ты все истратил? — спросил я.

– Все.

– Вы бы пореже шампанское дули! — сердито буркнул Душкин.

– Я вращаюсь в порядочном обществе, дурак!

– Да вот у дурака-то есть деньги, а у умника-то нет, — не унимался Душкин.

– Что ж, дуракам всегда счастье! — со вздохом ответил Ральф.

За квартиру и стол мы ещё не платили, и до первой репетиции, со дня которой пойдет наше жалованье, оставалось недели полторы. Смолькова не было в Нижнем, он уехал, кажется, в Питер приглашать Самойлова-отца на гастроли на ярмарку.

Не умея толком распорядиться деньгами, я скоро прожил свои двадцать пять рублей. Что было делать?..

Вот однажды Ральф уехал к кому-то обедать, Душкин, напудрясь и заковав свою длинную шею в высокий стоячий воротник, анафемски повязав галстук, над которым сопел добрых полчаса, отправился «стрелять по купчихам»; я же остался один дома работать над ролями. Учил, учил, устал, и захотелось смертельно поесть. Позвав коридорного, я заказал ему обычную порцию котлет с гарниром. Тот только мрачно поглядел на меня своими заплавленными от сна глазами и ушел, не проронив ни слова. Обыкновенно порции появлялись немедленно; теперь уже прошло четверть часа, затем полчаса, порции нет как нет. Горькое предчувствие закралось в мою душу; я всё же подошел к двери и нерешительно позвал коридорного; молчание; я ещё — тоже молчание. Наконец, повертывается ручка двери: «Несут, несут», — подумал я, как Хлестаков. Вошел тот же коридорный и, ещё более насупившись, положил передо мной узенький, длинный листок сероватой бумаги, исписанный сверху донизу каракульками, и, храня то же мрачное молчание, удалился.

Перед этим мы уже стали замечать, что спрашиваемые нами порции котлет или штудата с макаронами (на этом кончалась изобретательность повара) уменьшились с двух штук на одну, а вместо гор картофеля, горошку и макарон плавали в бурой подливке с десяток горошин и макарон.

Ральф ежедневно кормился по знакомым; расчетливый и аккуратный Душкин покупал себе к обеду копеек на пять сгибню (белый хлеб), делил котлету пополам, оставляя половину на ужин. С микроскопическими кусочками котлеты он отправлял себе в рот чудовищные куски сгибню, а потому вставал из-за стола всегда сытым.

Я же, беспечный, как птица небесная, и обладая при этом здоровым юношеским аппетитом, поглощал за обедом всю порцию и, проголодавшись опять к вечеру, заказывал себе другую. Я платил за комнату по пяти рублей в месяц, наравне с Ральфом и Душкиным; выходило, что, получая меньше всех, я платил больше всех и втрое больше того, чем получал сам. Вследствие этого я задолжал хозяину, Ральфу и Душкину и, лежа голодным брюхом на подоконнике, искал выхода из затруднительного положения, но так как я не получил от бога практического смысла, что называется, ни на медный грош, то с этого дня краткий период моего сравнительного благосостояния закончился, и снова начались «страдания молодого Вертера».

<sup>1</sup> «Кетли, или Возвращение в Швейцарию» — переводный водевиль в 1 действии Д. Ленского; шел с 1832 г. как в Петербурге, так и в Москве.

На дворе оттепель была во всем разгаре; снег потемнел, во впадинах огромных ухабин стояли глубокие лужи, в которые окунались извозчицьи сани; с крыш бежала капель, сверкая на ярком весеннем солнце.

Во мне внезапно возникло какое-то смутное желание «чего-то»; мне казалось, что это «что-то» близко, подле меня, что мне стоит только угадать, что это именно такое, и я стану его обладателем. Я встал на окно и отворил форточку. Вместе со свежим весенним воздухом в комнату ворвалось азартное, радостное чириканье воробьев и журчанье воды под снегом.

Яркая синева неба как-то особенно ласкала глаза. Меня потянуло на воздух. Надев шубу, пошел гулять. Пришел в Кремль. Перед скатом горы торчал из сугроба памятник Минину. Этот небольшой треснувший гранитный обелиск красноречиво выражал всю скудость благодарного чувства к великому гражданину-патриоту со стороны сограждан!.. Мало-мальски состоятельный купец делает себе памятник грандиознее этого.

Внизу, на Волге растянулась необозримая пелена снега, кое-где перерезанная порыжевшими линиями санного пути. В шубе мне стало жарко. Всюду уже чувствовалось пробуждение природы. Я опьянел от весеннего воздуха, и в уме стали толочься ритмические сочетания слов. Придя домой, я взял бумагу и карандаш и написал длинное стихотворение, строк в семьдесят, из коих помню первые четыре стиха, чего вполне достаточно, чтобы определить степень моего дарования в этой сфере.

*С безоблачной выси торжественной трелью  
Вливаются в душу весенние звуки!  
И жгут мое сердце с неведомой целью  
Палящим огнем неразгаданной муки...*

По счастью, я так стыдился своих поэтических экстазов, что ни одна душа никогда и не подозревала об их существовании, да и сам я недолго услаждался плодами своей музыки, а, понянчившись дня три с такой «неразгаданной мукой», тут же и уничтожал вещественные доказательства существования оной.

Наконец приехал Смольков, и начались репетиции. Мой первый дебют был назначен в роли слуги в одноактной комедии «Дело в шляпе».

Душкин играл тоже для первого раза в той же пьесе роль барина. Для Ральфа ставился, если меня не обманывает память, лермонтовский «Маскарад», И то, и другое шло в один спектакль.

Живя в одной комнате, мы часто ссорились из-за того, что каждый хотел громко учить роль.

Впоследствии, когда началась более спешная подготовка пьес, с четырех-пяти репетиций, роли выучивались, конечно, «не назубок», тем не менее знание их было вполне пристойное. К тому же новыми персонажами в труппе были только Ральф, Самойлов, Душкин и я; остальные же служили у Смолькова по десять, пятнадцать, двадцать лет и более.

Репертуар составлялся по репертуару ожидаемого на ярмарку гастролера московского или петербургского премьера. Собственно новинок ставилось мало: три-четыре пьесы истекшего сезона прибавлялись к игранному уже репертуару – вот и все.

Надо сказать правду, что труппа в Нижнем не блистала талантами. Первое место занимал старожил Владимир Максимович Трусов<sup>1</sup>. Актёр он был очень добросовестный и многие роли играл прекрасно, в особенности водевили. Он иногда ездил в Москву, изучал игру наших столичных артистов, преимущественно Самарина, вёл жизнь абсолютно

<sup>1</sup> Трусов Владимир Максимович (1816 – 1879) – актёр Нижегородского театра (из крепостных князя Н.Г. Шаховского); играл в водевилях, затем последовательно занимал ампула героя-любовника, резонёра, благородного отца. Им сыграно около 1000 ролей, в них он выступал до 5000 раз (Гацисский, «Нижегородский театр»). Страницы, посвященные ему Ленским, дают яркую характеристику этого своеобразного актёра русского провинциального театра.

трезвую и трудолюбивую и стоял головой выше остальной жалкой актёрской братии, убивающей свой досуг в полпивных и других вертепах.

Он был крепостным человеком – не помню какого помещика; образования, конечно, не получил и был полуграмотен. Известную долю развития дал ему, несомненно, театр, но, к сожалению, он почти ничего, кроме пьес, не читал. Иностранные слова он произносил убийственно: вместо «университет», говорил «нуврет», «Ришельо», «Мусьо», «ди-Мопра» и т. д. Все это резало уши и мешало впечатлению, производимому его иногда весьма хорошей игрой. Техническая сторона его исполнения временами прямо-таки поражала своею законченностью. Его красивая внешность, умение держаться в костюме говорили в его пользу.

В известной в то время французской мелодраме «Серафима Лафайль»<sup>1</sup> он, тогда уже почти старик, играл Жоржа Гарона.

Когда Жорж входит в склеп своей мнимоумершей возлюбленной и, увидав Серафиму восставшую из гроба, выбегает оттуда в ужасе, Трусов из глубины сцены, с высоты нескольких ступеней, летел на авансцену и, эффектно падая, опирался на левую руку, причем вытянутая правая нога дрожала, и шпора выбивала дробь. Теперь, конечно, на таком эффекте актёр далеко не уедет, но я упоминаю об этом, чтобы указать, сколько труда этот человек клал на выработку сценических приемов, не говоря о текстуальном знании каждой роли.

Среди голи кабацкой, из которой, за небольшими исключениями, состояла среда актёров того времени, такой работающий и добросовестный актёр был незаменим, пользовался уважением антрепренера, любовью публики и ненавистью актёрской братии.

Большинству актёров Смольков говорил «ты» и не только не подавал руки, но, случалось, даже делал своей рукой «отеческое внушение» в виде двух-трех пощечин, на которые забитые люди отвечали извинениями пред тем же Смольковым. Так что, когда однажды Смольков, заспорив со мной о чем-то на репетиции, назвал меня дураком, повидимому, сам не придавая этому особого значения, а я, выпучив глаза, крикнул ему: «Молчи, ты сам дурак!..» и ушел со сцены, то Ральф рассказывал мне потом, что Смольков даже окаменел от удивления и после долгого молчания смущенно проговорил: «Ах, ч-чорт, какой о-однако г-г-горячий!..»

После этого я не хотел у него служить и собирался уходить из Нижнего, именно «уходить», так как «уехать» было не на что, да и куда бы я ушел – тоже неизвестно!.. Дня через три Самойлов и Ральф помирили-таки нас, и с той поры Смольков был со мной сдержан и даже вежлив.

Трусов в свою очередь глубоко презирал кабацкую братию; выбившись упорным трудом, обязанный только самому себе, он был беспощаден к падению ближнего. Он не прощал бессилия перед заедающей средой и на это всегда отвечал: «А как же я?..»

Всё больше и больше черствел этот человек, пока окончательно не застыл в своем одиночестве. Он служил только в Нижнем, и служил там более тридцати пяти лет. Публика его любила, и бенефисы его всегда бывали полны; его знал весь город, но общения и знакомства с ним никто не искал, печать отвержения оставалась и на нём почти в той же силе, как и на других. Ни он ни к кому, ни к нему никто. С людьми развитыми он чувствовал себя связанным. В частной жизни он был бережлив и аккуратен. В семейной жизни был очень несчастлив. Жена, которую он обожал, бросила его. Это так его потрясло, что он долго не мог играть своей любимой роли, прекрасно им исполняемой: «Испорченная жизнь»<sup>2</sup>. Сходство положений заставляло его так сильно переживать и чувствовать на сцене, что он переставал владеть собой: по-

1 «Серафима Лафайль» – драма в 5 действиях А. Буржуа, шла в Петербурге на французской сцене в 1843 г., на Александринской – с 1844 г. и в Малом театре с 1845 г.

2 «Испорченная жизнь» – комедия в 5 д. Чернышева; шла на Александринской сцене с 1866 г., на сцене Малого театра – с 1869 г.



лившиеся слезы не унимались вовремя и переходили в неудержимые, судорожное рыдания.

Настал день дебютов: Ральф и Самойлов имели огромный успех, которому Ральф немало содействовал, перезнакомившись чуть ли не со всем городом. По городу пошел говор: «Наконец-то мы увидим образованных, умных актёров!»

Мой успех с Душкиным был более чем скромный, хотя мы с ним, что называется, «из кожи лезли – старались», но и смотреть-то нас остались очень немногие.

Мало-помалу я всё-таки опередил Душкина в симпатиях публики, хотя, надо сознаться, – подвиг был невелик: Душкин совсем не нравился. Он очень любил играть водевили, для которых был и тяжёл, и громоздок, мнил себя хорошим куплетистом и, бывало, не соглашался выкинуть ни одного куплета. Между тем, лишенный абсолютно всякого слуха, он врал немилосердно и ни за что не хотел верить, что фальшивит. В конце концов Смольков перестал ему давать роли с куплетами, чем бедный Душкин был смертельно огорчен.

Жили мы с ним уже отдельно от Ральфа, который остался в той же комнате, мы же переехали на квартиру «со столом».

Сначала наша хозяйка кормила нас сытно и вкусно, но потом, когда приходилось просрочить уплату, ввиду того, что Смольков платил жалованье не каждый месяц сполна, а когда и сколько придется: иногда пять рублей, иногда один рубль, иногда же и пятьдесят копеек, то и стол стал соответственно ухудшаться. Если Душкину удавалось хоть что-нибудь уплатить, то ему подавались порции и больше, и вкуснее; ему подают жирные щи, в них кусок говядины, мне же – «хлестаковский суп с перьями»; ему кусок хорошего жаркого, а мне, словно в насмешку, колоссальный мосол, который обыкновенно отдается собакам.

Благодаря тому, что гардероб мой потребовал обновления, я совсем запутался в денежном отношении и попал у хозяйки окончательно в опалу: меня переселили в мезонин и поместили в проходную комнату без окон. Свет в эту собачью конуру проникал только тогда, когда дверь в светлую комнату была приотворена.

Между стеной и огромной печью было как раз столько места, чтоб могла вдвинуться деревянная скрипучая кровать, влезать на которую мне приходилось через спинку.

Ярмарка в Нижнем начиналась с 15 июля и заканчивалась 8 сентября. В самой середине ярмарки находился театр, или, вернее, барак, сколоченный из досок. Когда шёл дождь, в театре царил страшный шум, дождь так барабанил в покрытую толем крышу и в дощатые стены, что на сцене ничего не было слышно.

Под сценой антрепренёр устроил конюшню для своих лошадей, и однажды во время гастроли В.В. Самойлова в сцене, где Гамлет говорит своим друзьям: «Клянитесь», вместо голоса тени отца, повторяющего: «Клянитесь», раздалось по всему театру снизу громкое ржание.

У Смолькова была и своя типография, где печатались афиши; находилась она в одном из флигелей, в которых помещались и актёры со своими семьями. Театр и флигель были собственностью Смолькова.

За театром был двор; в этом дворе покоем шёл двухэтажный барак, в котором и отводились квартиры актёрам и вообще служащим при театре; капельдинеров не было, заменяли их так называемые «афишеры».

Семейным актёрам давалась одна, редко две комнаты, а одиноких помещали по двое-трое в одной комнате. Кухня для всех была одна, туда сходились готовить жены и матери актёрской братии, теснясь со своими горшками вокруг одной плиты; не обходилось, конечно, без столкновений, так что временами кухня превращалась в сущий ад!..

Мне пришлось как-то разделять комнату с нашим суфлером Макшевым, человеком ещё не старым, но горьким пьяницей; у него была, кроме того, несносная привычка ежеминутно отплеиваться, что было особен-

но неудобно при еде из одной миски. Не выдержав, я как-то и заметил ему, что его поплевывание очень неприятно. Нимало не смутившись, в ответ на это Макшев провёл грязным пальцем по щам и невозмутимо добавил: «Ну, давай, пожалуй, разделимся; это будет твоя половина, а это – моя; ну, теперь – ешь!..»

Однажды этот самый Макшев, напившись пьяным, полез в будку суфлировать. Роли учились плохо, так как редкая пьеса выдерживала три представления; одна только «Смерть Иоанна Грозного»<sup>1</sup> А. Толстого выдержала около десяти раз: это небывалый случай в провинции. Вся надежда провинциальных актёров была на суфлёра; но на этот раз вдребезги пьяный Макшев взял книгу вверх ногами, поморгал, поморгал глазами, тщетно стараясь разобрать хоть что-нибудь, да так и не промолвил ни единого слова. Брошенные на произвол судьбы актёры напрасно кидали в будку молниеносные взгляды: Макшев совсем раскис и, пьяно ухмыляясь, едва слышно лепетал: «Извините, извините». За такие штуки Смольков бил этого суфлера по щекам. Вообще Смольков не стеснялся и, кроме ругани, часто оскорблял меньшую братию и действием; в этих случаях как из-под земли вырастали около него жившие у него издавна трое братьев-плотников, здоровенные детины, преданные ему, как псы, и готовые вступить при малейшем сопротивлении избиваемого.

Как-то у меня явилась настоятельная потребность в обновлении некоторой части туалета. Я пошел к Смолькову. Жил он в доме Тумбошиной, сын которой содержал буфет в театре. Ход был со двора. Поднявшись на лестницу, позвонил. Впустили. Из передней дверь вела в небольшую комнату вроде гостиной, со старой неуклюжей мебелью, затем шёл кабинет.

В комнате стоял промозглый запах старого холостяка, смешанный с вонью от копеечных сигар.

В кабинете между двух окон стоял старый письменный стол, заваленный новыми пьесами, ролями и афишами. На столе, кроме чернильницы, сургуча, печати, перьев, пепельницы порнографического характера и черешневых мундштуков, стоял метроном. На стенах висели гравюры в рамках красного дерева, с бронзовыми звездочками по углам, не помню какого содержания.

Из передней я увидел Смолькова за письменным столом; он читал что-то; между пальцами была зажата вонючая сигара. При моем входе он повернул голову и посмотрел на меня поверх пенсне, сидевшего на самом кончике носа. Небрежно протянув руку, он спросил:

– Ч-ч-что н-н-надо?..

– У меня дело, Фёдор Константинович, – отвечал я.

Он повернул ключ метронома один раз, и тот затикал. Своими искриющимися глазками он зорко впился в меня.

– Ну... ч-ч-что т-такое?.. – выговорил он, сморщив рыльце, зажмурив глазки и вскинув головкой при букве «о». Затем рыльце снова разгладилось, и скорее из носа, чем из рта вырвались звуки: «н-н-в-н...» – потом, немного успокоившись, он откинул трудную для него согласную и выговорил: «Э-э-эту д-де-нег!.. Н-н-на ч-что вам д-деньги?..»

– Нужно, Федор Константинович, – говорю я.

– Э... вздор к-какой!..

Я решился тогда открыть ему тайну моего туалета. Изъян моих панталон доставил ему, по-видимому, некоторое удовольствие. Метроном затих, он повернул его ещё три раза. По метроному посетитель мог всегда догадаться, как продолжительна будет аудиенция.

Смольков терпеть не мог, когда у него просили денег, но нужды относительно платья он удовлетворял всегда охотно, и вот почему.

<sup>1</sup> «Смерть Иоанна Грозного» – трагедия Алексея Толстого, имевшая значительный успех на Александринской сцене (где Грозного играли Павел Васильев, В.В. Самойлов, Нильский) и в Малом театре (Грозного играл С.В. Шумский). Трагедия ставилась и в провинции, роль царевича Федора у Смолькова в Нижнем играл Ленский.

У него была сделка с магазином сукон, если не ошибаюсь, Кузнецова. Актёру, имеющему нужду в платье, он выдавал записку на известную сумму, по которой тот мог получить необходимый ему материал; товар отпускался лежалый, гнилой, в пятнах, нередко изъеденный молью и, конечно, вдвое дороже, чем стоил бы такой же, но хорошего качества в другом магазине. За это Смолькову с каждого рубля горемыки-актёра магазин отдавал чудовищный процент. Как много актёрских грошей утаивалось этим человеком, сколько горьких слёз пролито и жизнью загублено по его милости!..

Актёр – я разумею среднего – всегда был в руках у Смолькова. Получая ничтожное своё жалованье по грошам, он вечно нуждался и постоянно был в долгу у Смолькова.

Штрафы взымались у него без всяких правил. Вот образец смольковского произвола.

Служили у него в моё время два брата Майоровы, один декоратор и актёр, другой наборщик и тоже актёр. Первого звали Митькой, второго – Мишкой. Оба уже пожилые люди и оба скверные актёры. Митька был худенький, щупленький, с рыльцем, сплюснутым с боков, и с пунцовой пуговкой вместо носа; Мишка с рылом шарообразным, сплюснутым с тмени и с подбородка, постоянно выпачканным типографской краской, с вывороченными губами. Однажды на репетиции Дмитрий Майоров, будучи навеселе, развязно подлетел к Смолькову и, с вежливой улыбкой подавая руку, проговорил: «А, благородному джентльмену!..» Тот молча подал свою, тем дело, казалось, и кончилось.

После ярмарки приходит Майоров к Смолькову считаться и, недополучив следуемых ему по расчету трех рублей, говорит: «Федор Константинович, извините, мне ведь ещё три рубля следует...»

– А благородного джентльмена помните? – с ехидной улыбкой произносит Смольков и, раскрыв книгу, показывает: «За благородного джентльмена с Дмитрия Майорова 3 рубля».

Иногда за недостатком актёров Смольков заставлял типографщика Мишку Майорова играть. Пришлось ему однажды играть с Самойловым-отцом; Самойлов играл Гамлета, Майоров – Марцелло; выведенный из терпения, Самойлов начал учить Майорова играть, но так как тот ничего не понимал, то, разгорячившись, Самойлов стал на него кричать. Майоров слушал молча, когда же тот кончил, он указал ему на свои запачканные типографскими чернилами руки, которые уже не отмывались, и флегматично заметил: «Василий Васильевич, если бы я умел так говорить и играть, как вы, у меня не было бы таких рук».

Во время гастролей Самойлова помню и со мной случай. Шла пьеса «Ришелье», перевод с французского. У меня была роль придворного, заключающаяся в одной фразе: «Мадам Юлия де-Мопра, пожалуйста к его величеству». На придворном, за неимением лаковых ботинок, были простые резиновые калоши, и так как единственная палевая рубашка моя от постоянного ношения превратилась в серую, то кто-то из товарищей посоветовал мне выкрасить её, тут же в уборной, свинцовыми белилами, которые были от антрепренёра и назывались «маркасетовыми». Рубашка была мгновенно выкрашена и на лампе высушена.

Сходя с двух ступенек, изображавших лестницу Версаля, придворный вдруг споткнулся, и резиновая калоша, сорвавшись с ноги, перелетела через сцену и со всего размаха ударилась в сутану Самойлова – Ришелье.

Проговорив в смущении свои несколько слов, придворный на босу ногу удалился во дворец.

Ожидали затем на гастролы и Шумского. Для него должно было пойти «Горе от ума». Шумский играл Чацкого, мне дали Загорецкого. Желая поразить столичного гостя знанием моды, я выпросил у Смолькова три рубля в счет жалованья вперед и купил себе брюки, причем выбирал наиширочайшие, подражая царившей тогда моде. Каково же было моё разочарование, когда, войдя в своих широчайших штанах на сцену,

я увидел, что на Шумском брюки буквально в обтяжку, что только что появилось тогда в столице<sup>1</sup>.

Как обставлялись пьесы даже с такими столичными гастролерами, можно судить по тому, что в «Горе от ума» в последнем действии вместо лестницы ставились ступеньки из «Орфея в аду», раскрашенные «под облака».

Однажды актёр, игравший *jeune premier*, сбежал от Смолькова к другому антрепренёру; приехал трагик Щеглов<sup>2</sup>, и для него ставили драму «Смерть» или «Честь», не помню. Роль Генриха некому было играть, и Смольков отдал её мне. Роль мне удалась, и Смольков предложил мне играть эти роли, пообещав прибавить «на гардероб» пять рублей серебром в месяц. По записке Смолькова я тут же купил у знакомого ему купца брюки канареечного цвета с черными лампасами. Когда Смольков торговался с каким-нибудь актёром, то охотно вместо прибавки к жалованью давал по несколько бенефисов в год. Эти бенефисы актёру, не умевшему развозить по купечеству билеты, приносили один убыток, так что было не редкостью, что Смольков записывал в книгу несколько рублей недобора за бенефис актёру же в жалованье. В этих случаях Смольков был неумолим и никогда не прощал бенефицианту этот недобор.

Некоторым давался бенефис «половинный», который на актёрском жаргоне назывался «половинкой»; цены были на пустяк повышенные, но и этот «лишек» делился пополам с антрепренером. Кроме того, с актёра вычиталось почему-то ещё «за театр» тридцать рублей, потом за освещение, за оркестр, за прислугу, за афиши, за пьесу, за переписку ролей, за билеты; так что в конце концов бедняга был рад, если удавалось свести концы с концами. День для бенефиса притом давался самый скверный; например, под праздник.

Буфет при театре содержался побочным сыном Смолькова. Благоразумные люди ходили в антрактах и во время репетиций выпить в ближайший кабак; легкомысленные же пили в буфете в кредит, и при получении жалованья Смольков вычитал с них по счёту буфета. Никто, конечно, не помнил, сколько пил, а потому платились за это жестоко.

Несмотря на все эти кулацкие замашки, Смольков, несомненно, любил театр, чему я имел довольно веские данные. Так, режиссёром был Трусов, но он как режиссёр ничего не делал, делал всё сам Смольков. Каждую пьесу он всегда сам читал, назначал роли, бывал на каждой репетиции не только новых пьес, но даже старых, сотню раз игранный водевиль репетировался всегда в его присутствии. Я не помню ни одного спектакля, который начался бы без него. За четверть часа до начала Смольков приезжал в театр; в семь часов, посмотрев на часы, подходил к занавесу, смотрел в дырочку, три раза хлопал в ладоши, что было знаком начать увертюру; затем уходил в свою ложу на авансцене, садился, опираясь локтем левой руки на барьер, и, уставив левый глаз между указательным и средним пальцами, смотрел весь спектакль, сколько бы раз пьеса ни шла.

На репетициях он сидел на авансцене, подде суфлёрского столика, и следил за знанием ролей. Сбор в театре, особенно в ярмарочное время, имел большое влияние на расположение духа Смолькова. На всё он отвечал охотно, только не проси денег; как запросил, конечно, – веселья нет как нет!.. Ему не было дела, что актёра сгонят с квартиры, перестанут кормить, не получая с него условленной платы; ему нет дела, если актёр мерзнет, не имея возможности выкупить из заклада шубёнку!..

1 Весьма характерный эпизод, показывающий, что не только провинциальные актёры, но и столичные, играя и в 1866 г. «Горе от ума», костюмировались не по моде эпохи великой комедии, а по моде, господствовавшей в год её представления.

2 Вероятно, речь идет об известном в то время провинциальном актёре Павле Щеглове, актёре мочаловского репертуара, обладавшем большим темпераментом (игравшем, например, Доверстона в мелодраме «Отец и дочь»).

Настоятельное требование денег одним актёром на выкуп шубы вызвало у Смолькова обычный ответ: «Перевернитесь как-нибудь», на что раздосадованный актёр ответил, перевернувшись на каблуках: «Вот я перевернулся, а мне от этого не стало теплее». Смольков на это резко махнул рукой, но денег всё-таки не дал. При расчете, недодавая ему двух-трех рублей, он с улыбкой прибавил: «Помните, перевернулись-то?..»

Бездарная, красивая, распутная актриса пользовалась его особенным расположением, уважением и льготами, чего не могло дать никакое дарование!.. Он сам сватал некоторых актрис, уговаривая их поступить на содержание (имя рек), торговался за них с покупателями, выторговывал себе куртажные, и тогда в комнату при его ложе носились из буфета одна за другой бутылки шампанского, актрису напаивали, били по рукам, и таким манером пропивалось доброе имя и честь девушки или женщины. После этого положение актрисы сразу изменялось: рабочие кланялись, гардеробища Евлалия Николаевна, сама, как говорили, во время оно бывшая любовница Смолькова, пресмыкалась и заискивала. Сам же Смольков прибавлял ей жалованье и уже величал её по имени и отчеству.

А если придёт к нему актриса-девушка, ведущая скромную, трудовую жизнь, после долгих колебаний решившаяся попросить у него ничтожной прибавки к грошовому своему жалованью, говоря, что нужно и ситчику на платье, и ботинки к такой-то роли, Смольков обыкновенно грубо отказывал, цинично говоря: «За что тебе прибавлять-то?.. Какая мне от тебя выгода?.. Предлагаю тебе, дура (имя рек), не пожелаала... Ну, теперь и пеняй на себя!.. И чего бережешь, дура!.. Все равно – черви съедят!..» – добавлял он, гадко хихикая.

Только одним способом мог актёр с большей вероятностью выпросить у Смолькова денег, это – шепнув ему на ухо несколько таинственных слов, отчего у Смолькова глазки начинали плотоядно искриться, уходили наполовину за нижние веки, рот сначала собирался сердечком, затем распускался в улыбку, а из носа вырывались хмыкающие звуки.

Заиканье Смолькова удивительно умел передразнивать Константин Васильевич Загорский<sup>1</sup>; впрочем, не было человека, которого Загорский, будучи с ним знаком, не мог бы скопировать. Он обладал замечательной наблюдательностью, удивительным умением схватывать характерные черты каждого лица, особенности его выговора, подмечал мельчайшие подробности интонаций и, обладая сам крайне подвижными чертами лица, копировал кого угодно с удивительной яркостью. Благодаря своему недюжинному юмору он бывал неотразимо забавен, но, да простит мне старый товарищ, я должен сказать, что на сцене его талант совершенно утрачивал свою яркость, всё, что он ни играл, было вяло, бледно и заурядно.

Вообще надо сказать, что, сколько я ни встречал за мою почти тридцатилетнюю сценическую деятельность людей, умеющих прекрасно копировать и рассказывать, в жизни все они, за единым исключением Надежды Михайловны Медведевой<sup>2</sup>, были плохие актёры. Все тонкости и детали, улавливаемые этими копиистами, исчезали и переставали быть видимыми, как только рампа отделяла зрителя от юмориста. Да, для сцены нужен широкий мазок Рембрандта, актёры же копиисты могут прекрасно передразнить в какой-нибудь роли известное лицо в городе, но «типа» никогда не дают!..

1 О Загорском, кроме воспоминаний Ленского и Нильского, рассказывающего тот же эпизод, сведений не встречалось.

2 *Медведева (Гайдукова) Надежда Михайловна* – актриса Малого театра (с 1848 по 1899 г.), прославившаяся главным образом исполнением ролей «пожилых женщин и старух по-лукомического характера»; до этого была весьма популярна, выступая в многочисленных мелодрамах, державшихся в репертуаре благодаря её игре. Вдумчивость исполнения, благородство манеры, отделка деталей, умение раскрыть «биографию» образа отличали её игру. Пользовалась громадным влиянием в труппе. Её умение «копировать», творчески воссоздавая свои наблюдения, отмечал и К. С. Станиславский («Моя жизнь в искусстве»).

Смольников терпеть не мог пьесу «Любовь и предрассудок» за то, что там есть действующее лицо Пикок, весь комизм которого заключается в заикании. Во время второго акта этой пьесы, где выходит это действующее лицо, он никогда не сидел в своей ложе; и мне помнится, что Загорский, играя Пикока и зная, что Смольников не будет смотреть, так поразительно копировал его, что театр буквально дрожал от хохота. Пьеса эта не имела, впрочем, успеха, так как Ральф, по просьбе которого она и была поставлена, играл очень плохо.

Вообще Ральф не был актёром в настоящем значении этого слова; это был декламатор, правда, хороший, но живого лица он не давал, и в ролях, в которых отсутствовали трескучие монологи, он был ничто. Для него не имел значения характер изображаемого лица и его душевное состояние. В его исполнении не было никакой разницы между Арбениным, Чацким, Ляпуновым и т. д. Здоровые легкие и фальшивый пафос заменяли в глазах невзыскательной публики всё остальное.

На ярмарке В.В. Самойлов сыграл, со свойственной ему виртуозностью, роль кардинала Ришелье в нелепой мелодраме того же названия, а зимой за эту роль взялся Ральф и рабски скопировал внешние приемы высокодаровитого актёра, не внося ни ноты личного таланта. Тем не менее, он имел большой успех, пьеса шла несколько раз, публика славословила «гибкое дарование Ральфа», а Смольников целовал и благодарил его.

Я недоумевал: в чём его заслуга?.. Завидовать ему я не мог, так как играл комические роли в водевилях и пьесах текущего репертуара, о «героях» же не помышлял. Дело в том, что благодаря влиянию библиотекаря городской библиотеки, который по своему выбору давал мне читать книги и подолгу беседовал со мной, я стал отдавать себе отчет как в своей работе, так и в работе товарищей. Мною с толком были прочитаны сочинения Шекспира, первый том Гервинуса о Шекспире, Гёте «Вильгельм Мейстер», «Гамбургская драматургия» Лессинга, баженовские<sup>1</sup> прочувствованные и полные любви к искусству и его жрецам статьи и т. д. и т. д.

Всё чаще и чаще передо мной начали вставать великие сценические образы, которые я имел счастье видеть и которые есть и будут, пока я жив, моими недостижимыми идеалами и великими учителями!.. Я стал сознавать, что дарования скопировать нельзя, что каждому нужно идти своим собственным путём и воспитывать своё индивидуальное дарование. Я понял, что, говоря в нос, я не стану Рассказовым, а возьму только его крупный недостаток. Я стал работать над ролями подобно тому, как работал Вильгельм Мейстер над Гамлетом. Тогда же я понял, почему не вижу в Ральфе ничего, кроме напыщенной декламации в Чацком и рабской копии Самойлова в Ришелье. Я понял, почему Ральфу удавалось перенять все чисто внешние кунштюки Самойлова и почему он проводил так бледно те, правда, немногие места этой роли, где в игре Самойлова сказывался его огромный талант. Так, например, когда кавалер де-Мопра пробрался вооруженный в спальню кардинала с целью убить всемогущего министра, Ришелье – Самойлов входил из боковой двери, удрученный предчувствием беды, нёс зажжённый канделябр, нагнув его так, что воск капал на пол, и говорил: «Как душно, как всё здесь пахнет изменой и...» – «И смертью!..» – договаривает из глубины де-Мопра. Ришелье вздрагивает, зовет Горнье; тот оказывается в числе заговорщиков и тоже против него. Де-Мопра, обманутый врагами Ришелье, начинает длинный перечень злодеяний, содеянных кардиналом, и кончает, подымая забрало своего шлема, словами: «Смотри, я – де-Мопра!..»

Самойлов слушал этот монолог сначала смущённый, но, угадав в убийце де- Мопра, которому он покровительствовал, начинает посте-

1 Баженов Александр Николаевич издавал театральный журнал «Антракт», печатавшийся первоначально на обороте афиш московских театров (с 1866 г. стал выходить еженедельными тетрадиками); он был и переводчиком, а главное, театральным критиком (его «Сочинения и переводы» вышли после его смерти под ред. Родиславского, М., 1869).

пенно овладевать собой; тонкая улыбка смеется у его губам, фигура выпрямляется и растёт, глаза начинают смотреть уверенно, и, когда тот заканчивает, называя себя по имени, Самойлов восклицает: «На колени, мальчишка!..» Вот этого-то Ральф «скопировать» и не мог. У Самойлова его стройная фигура, окутанная в шелковые складки лиловой сутаны, была полна величавого спокойствия, голова сидела прямо, но не закинута; глаза были одушевлены и вместе – спокойны, строги и добры; жест руки – величествен. Самойлов говорил эти несколько слов не громко, не тихо, но так, что всякий понимал, что не стать на колени было нельзя!.. Это производило такое впечатление, точно перед вашими глазами сверкнул клинок полированной стали!.. Этого скопировать нельзя!..

И в то время были люди талантливые, но образованных и развитых актёров в провинции почти не встречалось. Эти талантливые актёры часто играли прекрасно, но не отдавали себе отчета: почему такую-то роль он играет так, другую – иначе. В их игре часто бывали большие промахи, но эти промахи выкупались сочностью исполнения, если актёр бессознательно попадал на настоящую дорогу в понимании роли.

То время было полной противоположностью настоящего; прежде была одна крайность, теперь – другая. В то время определения «умный актёр» совсем не было в употреблении, теперь же актёры только «умники». Это стремление быть «умным» и перещеголять другого «умом» породило таких карикатуристов в сценическом деле, что от их исполнения вместо определенного «характера» получается какая-то «мозаика». Такой актёр, мало-помалу увлекаясь одной «головной работой», незаметно для самого себя начинает глушить свое дарование. Вместо того чтобы работать над своим дарованием, а регулятором поставить ум, он свой талант оставляет в полном покое, чисто головная работа получает фальшивое направление и служит не к отысканию нового взгляда на характер изображаемого лица, а наращиванию ненужных деталей, часто даже вовсе не остроумных. Эта масса деталей до того затемняет изображаемый характер, что под ними не рассмотришь твёрдого рисунка автора, как не распознаешь настоящего сложения женщины под современным её костюмом.

В бытность мою преподавателем в Московской императорской театральной школе ко мне в школу явился один молодой актёр, прося выслушать его. Вошёл он на подмостки.

– Что желаете прочитать?.. – спрашиваю я.

– Конец четвертого акта из «Уриэля Акосты».

– Извольте.

– Нельзя ли мне получить три стеариновые свечи?

– Зачем же вам свечи?..

– Видите ли, я играю это место со свечами в руке, и когда говорю: «Безумцы! Неужели вы хотите этими свечами затмить свет солнечный...», то я и показываю им эти свечи.

– Да ведь действие происходит в синагоге, где горит много свечей, вы и укажите на них.

– Нет, это будет не так выразительно!..

На это можно возразить, что в этом примере я привёл не «умного», а «глупого» актёра, но и у «умников» эти ненужные детали только менее смешны, но не менее досадливы.

«Ум», фальшиво направленный, переходит в «умничанье», и, по-моему, даже «бессознательное творчество» много отраднее такого «умничанья».

Один такой «умник», играя Гамлета, в третьем акте, после того как король, смущённый представленной пьесой, удалился, обращаясь к Гильденстерну и Розенкранцу, по переводу Полевого, говорит: «Что это, господа, как будто вы уж слишком гоняетесь за мной?..» На что Гильденстерн отвечает, что всему причиной любовь его к нему, т. е. к Гамлету.

В переводе Кронеберга это место переведено так: «Зачем ухаживаете вы за мной, как будто хотите заманить меня в сети?..»

Что же делает «умный актёр»?.. Он начинает ходить кругом сцены скорыми, большими шагами, заставляя Розенкранца и Гильденстерна почти бегать за ним, затем внезапно останавливается и спрашивает их: «Что вы гоняетесь за мной?..»

Такими подробностями иллюстрируется до полной пестроты вся роль от начала до конца. И это называется своеобразным и оригинальным толкованием характера.

Мое глубокое убеждение, что чем у актёра сильнее талант, тем выпуклее его игра и тем меньше в ней ненужных деталей. Такому актёру они не нужны!..

Можно плохо играть, что делать: «На нет – суда нет!..» Но играть «честно» актёр обязан; он не имеет права «передёргивать», хлеща по глазам доверчивого зрителя придуманными эффектами и маскируя тем бессилие своего таланта. Все эти иллюстрации, имя им – легион, возникают не потому, что актёрами руководит здравый смысл или художественный такт, но исключительно желание перещегоолять других исполнителей данной роли, быть «оригинальным», не замечая, что в сущности все они играют «по шаблону», данному когда-нибудь «великим художником сцены», и только теснят сами себя, рядя его в свои разноцветные тряпки!..

Нельзя не пожалеть, что «ум» подчас так плохо применяется в нашем актёрском деле, а «умничанье» так часто замораживает, а иногда и совсем убивает настоящий темперамент и недюжинные сценические способности в актёре...<sup>1</sup>

## Приложение.

*Из «Дневника путешествия в Россию в 1867 году» Л. Кэрролла<sup>2</sup>*

### **6 августа (вт.)**

...В половине шестого мы отправились с обоими Везрами в Нижний Новгород и нашли, что эта экспедиция вполне стоит всех тех неудобств, которые нам пришлось вынести от начала и до конца. Наши знакомые взяли с собой своего «курьера», который говорит по-французски и по-русски и который очень нам пригодился, когда мы делали покупки на ярмарке. Спальные вагоны – неизвестная роскошь на этой линии, поэтому нам пришлось довольствоваться обычным вторым классом. Я спал на полу по дороге и туда, и обратно. Единственное происшествие, которое внесло некоторое разнообразие в монотонность поездки (но вряд ли её облегчившее), длившейся с семи вечера до начала первого следующего дня, состояло в том, что нам пришлось выйти из вагона и перейти по временному пешеходному мосту через реку, поскольку железнодорожный мост смыло. Это вылилось в то, что примерно двум или трём сотням пассажиров пришлось тащиться добрую милю под проливным дождем. Ранее произошла авария, из-за которой наш поезд задержался, и в результате, если бы мы придерживались нашего первоначального плана вернуться в тот же день, то на ярмарке мы провели бы всего около двух с половиной часов. Мы подумали, что этого делать не стоит, учитывая те хлопоты и расходы, на которые нам пришлось пойти, и решили снять номер в гостинице и остаться до следующего утра. Посему мы отправились в гостиницу «Smernovaya» (или что-то в этом роде) – поистине разбойничье место, хотя, без сомнения, лучшее в городе. Еда была очень хорошей, а всё остальное – очень плохим. Некоторым утешением послужило то, что за ужином мы обнаружили, что представляем предмет живейшего интереса для шести или семи официантов, одетых в белые подпоясанные рубахи и белые брюки, которые выстроились в ряд и зачарованно уставились на сборище странных животных,

1 На этом обрывается рукопись. Сохранившиеся черновики позволяют предполагать, что Ленский собирался говорить в «Пережитом» о большом количестве лиц, с которыми он встречался.

2 Льюис Кэрролл. Дневник путешествия в Россию в 1867 году. Пища для ума. «Месть Бруно» и другие рассказы. ЭКСМО. 2004.



которые поглощали пищу перед ними... Время от времени их охватывали угрызения совести: они вспоминали, что, в конечном счете, не выполняют назначенный им судьбою официантский долг, и в такие моменты все вместе поспешно направлялись в конец зала и пытались найти поддержку в большом комод, в ящиках которого, судя по всему, не содержалось ничего, кроме ложек и вилок. Когда мы просили их что-нибудь принести, они сначала тревожно переглядывались, затем, определив, который из них лучше всего понял заказ, все вместе следовали его примеру, который всегда заключался в заглядывании в ящик... Большую часть дня мы провели, расхаживая по ярмарке, покупая иконы и проч.

Это было замечательное место. Помимо того, что на ярмарке имелись отдельные ряды для персов, китайцев и других, мы постоянно встречали необычные создания с нездоровым цветом лица и в немыслимых одеждах. Персы, с их спокойными умными лицами, широко расставленными удлинненными глазами, вороного крыла волосами и желто-коричневой кожей, с черными шерстяными фесками на головах, похожими на гренадерские шапки, были почти что самыми живописными из всех, кого мы встречали. Но все новые впечатления дня затмили наше приключение на закате, когда мы наткнулись на татарскую мечеть (единственную в Нижнем), как раз в тот момент, когда один из служащих вышел на крышу, чтобы произнести... (в оригинале это место пропущено – Ред. ЭКСМО) или призыв к молитве. Даже если бы в увиденном не было ничего самого по себе необычного, это представляло бы огромный интерес благодаря своей новизне и уникальности, однако сам призыв не был похож ни на что другое, что мне приходилось до сих пор слышать. Начало каждой фразы произносилось быстрым монотонным голосом, а к концу тон постепенно повышался, пока не заканчивался продолжительным скорбным стенанием, которое проплывало в неподвижном воздухе, производя неопишимо печальное и мистическое впечатление: если услышать это ночью, то можно было бы испытать такое же волнение, как от завываний привидения, предвещающего чью-то смерть.

Сразу же, послушные призыву, появились толпы верующих, каждый из которых снял с себя и отложил в сторону обувь перед тем, как войти: главный священник позволил нам постоять в дверях и посмотреть. Сам обряд поклонения, похоже, состоял в том, чтобы стать, обратившись лицом к Мекке, неожиданно упасть на колени и коснуться лбом ковра, подняться и повторить это один или два раза, затем снова неподвижно постоять в течение нескольких минут и так далее. По пути домой мы зашли в церковь, где служили вечерню, со всем приличествующим набором икон, свечей, крестных знамений, поклонов и проч.

Вечером я отправился с младшим из Везров в Нижегородский театр, который оказался самым непритязательным строением из всех, что мне приходилось видеть, – единственным украшением внутри была побелка на стенах. Он был очень большим и заполнен не более чем на одну десятую, поэтому в зале было замечательно прохладно и приятно. Представление, исполнявшееся исключительно на русском языке, было нам несколько непонятно, однако, прилежно трудясь в течение каждого антракта над программкой, мы, с помощью карманного словарика, получили сносное представление о том, что происходит на сцене. Первой и самой лучшей частью была «Алладин и волшебная лампа», бурлеск, в котором некоторые актёры показали по-настоящему первоклассную игру, а также очень неплохое пение и танцы. Я никогда не видел актёров, которые уделяли бы больше внимания действию и партнёрам на сцене и меньше бы смотрели на зрителей. Тот, который играл Аладдина, по фамилии Ленский<sup>1</sup>, и одна из актрис в другой пьесе, по фамилии Соронина, пожалуй, были лучшими<sup>2</sup> (в оригинале фамилии приведены русскими буквами – Ред.). Другими пьесами были «Cochin China» и «Гусарская дочь».

После ночи, проведенной в постелях, состоящих из досок, покрытых матрасом в дюйм толщиной, подушки, одной простыни и стеганого одеяла, и после завтрака, гвоздем которого стала большая и очень вкусная рыба, почти полностью без костей, которая называется Stirlet, мы посетили собор и Мининскую башню.

1 А.П. Ленский в сезонах 1866-1868 гг. играл в Нижегородском театре в антрепризе Ф.К. Смолькова.

2 В оригинале фамилии приведены русскими буквами – Ред. ЭКСМО.

В соборе мы обнаружили, что там проходит торжественная обедня и все огромное белое здание заполнено военными: мы немного подождали и послушали великолепное пение.

С Мининской башни нам открылась великолепная панорама всего города и извинаяся лента Волги, теряющаяся в туманной дали. Затем, после еще одного посещения Двора, около трех мы отправились в обратное путешествие, еще более неудобное, чем предыдущее, если такое вообще возможно, и снова прибыли в Москву, усталые, но довольные всем, что увидели, примерно в девять утра.

### **9 августа (пт.).**

Единственным значительным событием дня была наша поездка (снова в сопровождении Везров) в Монастырь Semonof, где с вершины колокольни, взбираясь на которую, мы насчитали 380 ступеней, мы смогли ближе и, по моему мнению, лучше рассмотреть Москву, чем с Воробьевых гор. Мы посетили часовни, кладбища и трапезную: часовни были прекрасно украшены фресками и проч., и в одной из них имелось любопытное изображение, почти гротескное, сучка и бревна,<sup>1</sup> мы также отведали монашеский черный хлеб, который оказался совершенно съедобен, хотя и не вызывал желания откусать его еще раз... Старший из Везров вечером составил мне компанию, и мы пошли в Московский «Малый театр», на самом деле оказавшийся большим красивым зданием.

Публика была очень хорошая, и пьесы «Свадьба бургомистра» и «Женский секрет» были встречены большими аплодисментами, но ничто не понравилось мне так же, как «Аладдин». Всё было на русском.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду сцена, иллюстрирующая фразу: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?» (Лука, 6:41142) – Ред. ЭКСМО.